



ТРУСТИНА

Светлана Качалова

Светлана Качалова

Грустина

«Автор»

2026

Качалова С. М.

Грустина / С. М. Качалова — «Автор», 2026

Что, если существует место, где нельзя лгать? Анна Северцева — петербургский филолог, специалист по черновикам Пушкина. Она умеет читать между строк, но свою собственную ложь не замечает три года — с того дня, когда узнала об измене мужа и промолчала. Всё меняется, когда в архиве она находит письмо Пушкина, в котором он спрашивает о Грустине — легендарной поляне в сибирской тайге, где человек теряет способность лгать. Пушкин не решился поехать. Анна — решается. Путь к Грустине ведёт через Вену и Рим, через древние архивы и карты, через встречу с Верой — последней хранительницей тайны, ждавшей своего часа тридцать лет. Но Грустина — не просто место. Это зеркало. И не каждый выдерживает то, что видит в нём. «Грустина» — роман о том, как перестать бояться правды. О молчании, которое разрушает жизнь, и о словах, которые освобождают. О том, что даже самая горькая правда может стать началом новой жизни.

© Качалова С. М., 2026

© Автор, 2026

Светлана Качалова

Грустина

Качалова Светлана

Грустина

2026

Аннотация

Что, если существует место, где нельзя лгать?

Анна Северцева, филолог из Петербурга, находит письмо Пушкина, в котором он спрашивает о таинственной Грустине – месте в сибирской тайге, где человек теряет способность лгать. Она отправляется в опасное путешествие, которое приведёт её к древнему идолу, к женщине, хранящей тайну тридцать лет, и к правде о себе, которую она прятала годами.

«Грустина» – это роман о том, как перестать бояться правды. О молчании, которое разрушает жизнь, и о словах, которые освобождают. О том, что даже самая горькая правда может стать началом новой жизни.

Тем, кто ищет правду. И тем, кто боится её найти.

Благодарности

Эта книга родилась из тишины – той самой, которую я узнала в тайге. Но она не появилась бы на свет без людей, которые помогли мне её услышать.

Спасибо моему научному руководителю, который научил меня слышать тишину между строк. Спасибо моей семье, которая терпеливо ждала, пока я вернусь из сибирских лесов. И спасибо тебе, читатель, за то, что ты держишь эту книгу в руках. Если ты нашёл в ней что-то своё – значит, я сделала всё правильно.

Светлана Качалова



«Там человек теряет ложь, как кожу. И не каждый выдерживает.»
– Александр Пушкин, из письма неизвестному адресату

ЛЕГЕНДА О ГРУСТИНЕ

Давным-давно, когда тайга была ещё молодой и люди не знали лжи, жила шаманка по имени Злата. Старая, как корни кедров, и мудрая, как тысяча зим, она видела не только то, что есть, но и то, что будет, и то, что было задолго до рождения первых людей. Её глаза цвета осеннего неба – серые, с золотыми искрами – могли пронзить любую тьму, а волосы были белы, как первый снег, хотя никто не помнил, когда они стали такими. Жила она одна в глубине леса, у подножия камня, который позже назовут Золотой Бабой, и люди приходили к ней за советом, принося дары – рыбу, меха, сушёные ягоды, а иногда просто тишину и уважение.

Никто не знал, откуда она пришла. Одни говорили, что она родилась от союза духа тайги и смертной женщины. Другие – что она была дочерью луны, спустившейся на землю, чтобы научить людей отличать искренность от обмана. Но шаманка никогда не говорила о

своём прошлом. Она только слушала – тех, кто приходил к ней со страхом в глазах, и давала им то, что они искали: не утешение, а суровую, обжигающую правду.

И вот однажды ночью, когда над тайгой взошла кровавая луна, старуха вышла из своего жилища и посмотрела на звёзды. Смотрела долго – до тех пор, пока светила не начали мерцать в её зрачках, отражая то, что было скрыто от других. Холодный ветер коснулся её лица, принося запах грозы и гари – хотя небо было чистым, а воздух – сухим и колючим. А потом она призвала старейшин своего племени. Голос её звучал глухо, как дальний гром, и в нём слышалась такая боль, что старейшины, не сговариваясь, замолчали.

– Я видела гибель нашего народа, – сказала она. – Через три луны придёт болезнь, которая унесёт всех, кто живёт у этой реки. Никто не выживет, если мы не уйдём на восток, за Камень, туда, где леса ещё не знают человека. Я прошу вас – послушайте меня.

Старейшины переглянулись. Первым заговорил самый старый из них, тот, чьи волосы были белее снега, а голос – глубже, чем корни вековых лиственниц.

– Ты стара, Злата, – сказал он, и в голосе его звучала снисходительная усталость. – Возможно, ты ошиблась. Или, может быть, ты просто хочешь, чтобы мы ушли, и ты осталась одна. Мы не покинем землю наших предков. Мы останемся.

Другой старейшина, тот, что был моложе, но уже с сединой в бороде, добавил с усмешкой:

– Старуха выжила из ума. Она видит то, чего нет. Мы не пойдём за ней.

Третий промолчал, но покачал головой – и этого было достаточно.

Они ушли, не послушав её. Смеясь. Качая головами. Только их смех был горьким, как дым от сырых дров, и в нём слышалась та же слепая гордость, которая уже погубила не одно племя. Злата осталась одна. Она вернулась к своему камню и села у его подножия, положив руки на холодный гранит. Ждала. Знала: старейшины ошиблись, но она не могла спасти тех, кто не хотел быть спасённым. Могла только смотреть.

Через три луны пришла болезнь – тёмная, быстрая, как лесной пожар. Она уносила людей один за другим: сначала старых, потом молодых, потом детей. Крики стояли над стойбищем – высокие, отчаянные, как волчий вой. Они смешивались с запахом гари от остывающих очагов, с горечью пепла, который оседал на лицах мёртвых. Никто не мог остановить эту смерть. Люди бежали к Злате, моля о спасении, моля о прощении, но она сидела у подножия идола и молчала. Её дар – видеть обман – уже не мог помочь им. Она знала, что они придут, и что она ничего не сможет сделать. Только смотреть.

Когда последний человек в племени умер, старуха поднялась. Прошла через пустое стойбище, мимо остывших очагов и мёртвых тел, мимо детских игрушек, забытых в снегу, мимо остовов чумов, которые ветер уже начал разносить по тайге. Не плакала. Только смотрела на небо – чистое и равнодушное, как никогда. На губах её застыл привкус пепла – горький, сухой, как сама смерть.

Вернулась к своему камню, обняла его и прошептала что-то – может быть, проклятие, может быть, молитву. И в этот миг холодный гранит начал подниматься по её телу – медленно, словно вода, замерзающая на ветру. Сначала пальцы ног, потом ноги, потом руки, грудь, плечи – камень смыкался вокруг неё, и она не сопротивлялась. Гранит становился тяжелее, прижимая её к земле, вдавливая в вечность. Она смотрела на восток, туда, куда советовала уйти, и в её глазах, уже застывающих, ещё теплилась последняя искра. А затем – ничего. Только камень. Только молчание.

Её тело стало гранитом, её глаза застыли, глядя на восток, туда, куда она советовала уйти. Но её дар – видеть ложь – остался. Перешёл в камень, в эту поляну, в каждую трещину на поверхности Золотой Бабы. И с тех пор каждый, кто приходит сюда, кто проводит ночь у подножия идола, теряет способность обманывать. Не на время – навсегда. Многие не выдер-

живают. Уходят в чащу и больше не возвращаются. Или возвращаются, но не говорят ни слова – потому что истина, которую они узнали, слишком тяжела для человеческого языка.

Остяки называют это место Грустиной – от слова «грусть», от печали, которую приносит правда. Но есть и другое толкование: говорят, что в старости шаманка часто повторяла: «Правда – это грусть. Но после грусти приходит свобода». И это название осталось – как память о ней, как напоминание о том, что даже самая горькая правда может стать освобождением. Обходят поляну за десять вёрст и учат детей не приближаться к ней, потому что правда – это дар, который не каждый может принять. Но те, кто готов, – приходят. Садятся у подножия камня и ждут, когда ложь, слой за слоем, начнёт слезать с них, как старая кожа. И они говорят правду – ту, которую прятали годами. И камень слушает. Всегда слушает. Ждал всех, кто придёт. И будет ждать всегда. И те, кто не готов, уходят, и те, кто готов, остаются – потому что камень не выбирает, он просто ждёт.

Из остяцкого предания, записанного иноком Арсением в лето от сотворения мира 6987-е



ПРОЛОГ

«Я должен поехать туда. Должен увидеть сам. Но я боюсь. Что я скажу там? Какую правду я узнаю о себе?»

– Сигизмунд фон Герберштейн, из личного дневника, 1526 г.

Михайловское, 1826 год. Зима.

Александр Пушкин сидел у окна и смотрел на метель, которая кружилась за стеклом, залепляя мир белой пеленой. В камине догорали дрова, и в комнате становилось всё холоднее – мороз проникал сквозь неплотно закрытые рамы, и холодный воздух касался его шеи, заставляя ёжиться. Но он не замечал этого. Он не замечал ничего, кроме письма, которое держал в руке – тонкого листа бумаги, сложенного вдвое, с чужой печатью, которая тускло поблёскивала в свете догорающего огня. Пальцы его дрожали – от холода или от волнения, он не знал. Он перечитал послание уже в десятый раз, и каждый раз слова врезались в память глубже, оставляя за собой странную, липкую тревогу, которая поднималась откуда-то из груди и застревала в горле.

«Место, о коем Вы спрашиваете, – не крепость. Это поляна в сибирской тайге, где человек, проведя ночь, теряет способность лгать. Я не был там, но те, кто был, не лгут более никогда. Иные же вовсе лишаются речи...»

Он отложил письмо и посмотрел на огонь. В камине догорали последние поленья, и пламя, уже не плясало, а едва тлело, отбрасывая на стены длинные, дрожащие тени. Комната наполнилась запахом дыма и холодной золы, и этот запах смешивался с запахом старой бумаги, чернил и воска, который исходил от стола, заваленного рукописями. Он знал об этом месте уже шесть лет – с 1820 года, с южной ссылки, когда впервые услышал о Грустине от старого казака. Тогда он не поверил. Сейчас – верил. И это было хуже всего.

Он провёл рукой по лицу, чувствуя, как холодный пот выступает на лбу. Он представил себя там – на поляне, среди мёртвых деревьев, у подножия каменного идола. Представил, как ложь уходит из него, оставляя только правду. Голую, страшную, беззащитную. Правду о нём самом. О его стихах. О его жизни. О том, что он так долго прятал даже от себя. О том, что его поэзия, его слава, его свобода – всё это держится на тонкой, почти невидимой ткани, которую правда может порвать в одно мгновение.

Он встал, подошёл к столу, взял перо и начал писать ответ. Строчки ложились на бумагу быстро, словно он боялся, что не успеет. Он просил карту. Он спрашивал о том, как добраться. Он писал о том, что хочет увидеть это место своими глазами. Перо скрипело по бумаге, и в этом скрипе слышалась почти отчаянная поспешность. Чернила пахли железом и чем-то горьким, и этот запах смешивался с холодным воздухом, который проникал в комнату через неплотно закрытую форточку.

А потом он остановился. Перечитал написанное – и замер. Перо дрогнуло в его руке, и на бумаге осталась тёмная клякса, расплывающаяся, как пятно крови. Он представил себя снова – на той поляне, у подножия идола. И понял, что не готов. Никогда не будет готов.

– Не могу, – прошептал он вслух, и голос его прозвучал глухо, чуждо в тишине комнаты.
– Не могу. – Он повторил это ещё раз, словно пытаясь убедить себя.

Он разорвал письмо. Не сжёг – разорвал, и бумажные обрывки упали на пол, смешавшись с пеплом угасающего камина. Один из них, с ещё читаемыми словами, он поднял и сжал в кулаке: «...теряет ложь, как кожу...». Бумага хрустнула под пальцами, и он почувствовал, как её края впиваются в ладонь, оставляя на коже красные полосы. Боль была острой, почти приятной – она возвращала его в реальность, в эту комнату, в этот холод, в эту жизнь, которую он выбрал вместо правды.

Затем он взял рукопись «Руслана и Людмилы», нашёл недавно вписанную строфу о Золотой Бабе – и зачеркнул её. Он нажал на перо так сильно, что оно прорвало бумагу, оставив длинную, рваную царапину на странице. На полях вывел: «Спросить у Герберштейна, что есть

Грустина». Слова получились неровными, почти нечитаемыми, но он знал: они останутся здесь навсегда.

Он не поедет. Он никогда не поедет. Он будет искать правду в другом месте – на дуэлях, на грани жизни и смерти, где ложь тоже исчезает. Но Грустина останется в нём, как заноза, как вопрос, на который он никогда не ответит.

Он откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. В комнате было холодно – мороз пробирался сквозь щели в окнах, и он чувствовал, как холод касается его лица, его рук, его шеи. Он не шевелился. Он просто сидел и слушал, как за окном воет ветер, как снег бьётся в стёкла, как где-то в доме скрипят половицы под ногами няни. Он слушал эту жизнь, которую выбрал, и чувствовал, как внутри него затихает что-то важное – может быть, надежда, может быть, страх.

За окном падал снег – белый, бесконечный, равнодушный. Пушкин сидел неподвижно, глядя в темноту, и в его голове уже рождались строки, которые через три года станут «Пиковой дамой» – историей о человеке, который искал тайну и заплатил за неё безумием. Он не знал тогда, что через одиннадцать лет он снова выйдет к барьеру. На Чёрную речку. И в последний раз – с тайным намерением не вернуться.

Он подошёл к окну и долго смотрел на падающую метель. Лоб прижался к холодному стеклу, и он чувствовал, как мороз проникает сквозь кожу, успокаивая лихорадочный бег мыслей. Он знал, что это место будет преследовать его до конца. Что оно будет ждать. Что когда-нибудь, через сто, двести, триста лет, кто-то другой найдёт его письмо, прочтает его пометку на полях и пойдёт по его следу.

Он не знал, что этим «кто-то» будет женщина из Петербурга, которая тоже искала правду. И что она найдёт её там, куда он не решился пойти.

Пушкин стоял у окна, глядя на метель, и чувствовал, как Грустина уже стала частью его – той частью, которую он никогда не сможет вычеркнуть. Он прошептал в темноту:

– Прости меня. Я не смог.

И больше не сказал ни слова.



Глава 1. Тёмное место

«Я лгу себе каждое утро. Я говорю, что всё хорошо. А потом пью кофе и смотрю на мужа, который врёт мне в ответ»

– Анна Северцева

1

Утро началось с тишины – не хрупкой, предрассветной, а глухой, ватной, словно кто-то накрыл Петербург огромным колпаком, и все звуки, кроме собственного дыхания, ушли в никуда. Анна открыла глаза за минуту до будильника – привычка, вросшая в плоть за пятнадцать лет архивной работы: тело знало время лучше любых часов, оно само решало, когда пора выныривать из сна, чтобы успеть к открытию читального зала.

Она лежала неподвижно, глядя в потолок, где от уличного фонаря дрожал бледный, неровный прямоугольник, и слушала себя – сердце, дыхание, тишину. Сердце стучало ровно, привычно – без тревоги. Рядом дышал Алексей: размеренно, глубоко, с лёгким присвистом на выдохе. Он спал, отвернувшись к стене, и его затылок – тёмные волосы, тронутые первой сединой, – был единственным, что она видела. Анна смотрела на этот затылок и вдруг поймала себя на мысли, что не может припомнить, когда они в последний раз завтракали вместе. Не в

спешке, не с телефоном в руке, а по-настоящему – с разговором, с шуткой, с прикосновением. Месяц? Два? Полгода? Она не знала. Их брак стал привычкой – как чистить зубы, как проверять почту, как пить кофе. Кофе они ещё пили вместе. Это была последняя общая нить.

Полоска света пробивалась сквозь неплотно задёрнутые шторы – серая, ноябрьская, безнадёжная. За окном шумел Петербург: приглушённо, как сквозь толстый слой ваты – далёкий гул машин, лязг трамвая на повороте, чей-то смех, донёсшийся с улицы, и снова тишина. В спальне было холодно. Алексей всегда открывал форточку на ночь, даже зимой. В их спальне всегда было холодно, как в музее, где температура держится постоянной, чтобы не портились экспонаты. Анна поёжилась, натянула одеяло до подбородка. Шерсть покалывала кожу – старое одеяло, ещё от бабушки, с катышками на кайме, с выцветшими розанами, которые когда-то были алыми, а теперь превратились в бледные, почти белые пятна. Кайму она помнила пальцами с детства – засыпала под этим одеялом в деревне, слушая, как за окном шумят сосны, и бабушка шептала сказки, в которых добро всегда побеждало зло, а правда всегда находила дорогу. Одна из немногих вещей, оставшихся неизменными. Ирония: одеяло, укрывавшее её от холода в детстве, теперь укрывало от правды, которую она носила в себе три года.

Алексей дышал ровно – он ещё спал. Анна повернула голову, скользнула взглядом по его плечу, выступающему из-под одеяла, по руке, безвольно лежащей на подушке. Его затылок вдруг напомнил ей ту конференцию в Москве, двенадцать лет назад. Он – аспирант с горящими глазами, она – начинающий научный сотрудник. Они спорили о «Пиковой даме», о символизме чисел, о том, что скрывается за карточной игрой. Он говорил сбивчиво, страстно, и она влюбилась в его голос, в его руки, которые рисовали в воздухе невидимые схемы. Они поженились через год. Первые годы были лёгкими: они читали друг другу вслух, ходили в Эрмитаж по воскресеньям, пили вино на кухне и спорили до хрипоты – был ли Пушкин счастлив в браке. Анна тогда думала, что счастье – это когда есть с кем спорить о Пушкине. Теперь она знала: счастье – это когда есть с кем молчать, и это молчание не душит.

Три года. Три года с того дня, как она узнала. Не застала, не увидела – узнала. Случайное сообщение в его телефоне, забытом на кухонном столе. Экран засветился, и её взгляд упал на строчки: «Вчера было прекрасно. Повторим?» И смайлик. И женское имя, которого Анна не знала. Она помнила, как стояла на кухне, сжимая чашку с остывшим чаем, и читала эти слова снова и снова, пока они не превратились в бессмысленный набор букв. Она не устроила скандала. Не разбудила его. Не выбросила его вещи с балкона. Она просто положила телефон на место и больше никогда к нему не прикасалась. Три года она знала – и молчала. Три года он не знал, что она знает. Они пили кофе по утрам, обсуждали новости, ходили в гости. Их брак стал спектаклем, в котором оба актёра играли роли, но только один знал, что это спектакль. Она часто спрашивала себя: почему молчит? Из страха? Из привычки? Из жалости? Ответа не было. Только холодное, липкое ощущение, что она живёт чужую жизнь.

Анна села, сбросила ноги на пол. Босиком прошла на кухню – половицы скрипнули под ногами, привычно, на третьей и седьмой досках. Она знала их наизусть, как знала всё в этой квартире: где скрипит дверца шкафа, где подтекает кран, где на подоконнике выцвело пятно от горшка с геранью, которую она забыла полить. Слишком хорошо знала. Иногда ей казалось, что она может пройти по квартире с закрытыми глазами, ни разу не коснувшись стен, – и это было не достижением, а приговором. Она включила чайник, машинально достала две чашки, поставила одну обратно. Налила кофе, села к окну. За стеклом падал первый снег – редкий, неуверенный, словно город примерял зиму, как чужое пальто. Анна смотрела, как снежинки тают на тёплом стекле, оставляя мокрые, прозрачные следы, и думала: ложь похожа на этот снег – красиво ложится, но исчезает от первого же тепла. Правда – как лёд. Она не тает. По ней скользят. На ней ломают ноги.

Она вспомнила, как год назад он сказал: «Аня, я хочу тебе кое-что рассказать». Она подняла глаза от чашки. Он сидел напротив, смотрел в стол, пальцы сжимали ложку так, что

побелели костяшки. «Я нашёл кое-что в архиве. Одно место в Сибири. Это связано с Пушкиным». Она заинтересовалась: «С Пушкиным?» Он замолчал. Надолго. А потом сказал: «Нет. Не важно. Я ещё не уверен». И больше никогда не поднимал эту тему. Теперь она понимала: он знал. Уже тогда знал. И молчал. Он искал Грустину – место, где нельзя лгать, – чтобы она сделала за него то, на что он сам не решался. Переложить ответственность на камень, на магнитное поле, на древнюю магию. Но магия не работала без смелости идти до конца. И он остался здесь – с ней, с их спектаклем, с их кофе по утрам.

Алексей вышел на кухню, когда она уже допивала кофе. Халат нараспашку, волосы всклокочены – он всегда выглядел беспомощным по утрам, как ребёнок, который только проснулся и ещё не понял, где он. Раньше это её умиляло. Теперь – просто факт. Он был похож на человека, который ещё не проснулся и не начал врать. Самое честное его время суток.

– Кофе будешь? – голос из-за плеча, она даже не обернулась, глядя в окно на падающий снег. Но краем глаза она уловила, как он вздрогнул от звука её голоса – словно его застали врасплох. Это было новое, почти незаметное движение, которого она не замечала раньше, и оно заставило её внутренний каталог насторожиться.

– Угу. – Голос сонный, глухой, но в нём послышалась какая-то натянутая нота, как у струны, которую перетянули.

Она плеснула ему в чашку – не глядя, на автомате, зная, сколько он любит: с молоком, без сахара. Он сел напротив, взял телефон, пробежал пальцем по экрану. Молчание. Кофе. Телефон. Снова молчание. Потом он откашлялся – чуть громче, чем нужно. Анна услышала, как хрустнули его пальцы, сжимающие чашку, как он перевёл дыхание. В этот момент она знала: сейчас он соврёт. Она чувствовала это кожей – как приближение грозы. Но что-то было иначе: прежде чем заговорить, он на мгновение прикрыл глаза, словно собираясь с духом. Этого жеста она не видела раньше, и он показался ей почти исповедальным.

– Я сегодня задержусь. – Он откашлялся, и пальцы его, сжимающие чашку, хрустнули. – Там из министерства запрос. Петровская эпоха. Архивные справки. И квартальный отчёт. Так что раньше девяти...

Анна слушала и считала. Три детали. Три лишних камня в его конструкции. «Из министерства» – раз. «Петровская эпоха» – два. «Квартальный отчёт» – три. Когда он говорит правду, он не строит. Он просто идёт. Но сегодня она заметила ещё одну деталь: когда он произносил «Петровская эпоха», его взгляд метнулся в сторону, к окну, как будто он искал там опору. Это был новый штрих – страх, который он не мог скрыть даже за тщательно выстроенной ложью.

– Хорошо. – И ничего больше. Не спросила, во сколько он придёт, не предложила оставить ужин, не посмотрела на него. Она просто допила кофе – на доньшке осталась горькая гуща, чёрная, как её молчание, – взяла сумку и вышла. Хлопнула входная дверь, звук гулкий, как выстрел в тишине лестничной клетки. На сегодня у неё были другие планы.

2

Пушкинский Дом встретил её запахом старой бумаги и воска. Анна любила этот запах – сухой, с горчинкой, немного затхлый, с едва уловимой сладостью, которую оставляет время. К нему примешивался одеколон вахтёра Михалыча – дешёвый, резкий, «Шипр», который он носил, кажется, с семидесятых, – и почему-то всегда пахло кофе, хотя пить его в читальном зале запрещалось. Архивный воздух успокаивал, как голос старого друга, знающего все твои секреты и не выдающего. Здесь ложь была невозможна – рукописи не врут, они просто есть. Это люди врут, когда их читают.

Она кивнула Михалычу – тот оторвался от газеты и кивнул в ответ, без улыбки, привычно, – расписалась в журнале посещений. Ручка чуть скрипнула по бумаге, оставляя синий, расплывающийся след. Она прошла в зал рукописей, её шаги зазвучали глухо, приглушённо,

как в музее. Третий стол от окна – её стол. Она садилась за него пятнадцать лет, с первого дня работы в институте. Тогда она была аспиранткой, которая краснела, когда ей выдавали рукописи Пушкина, и у неё дрожали руки, прикасаясь к пожелтевшим страницам. Теперь она – ведущий специалист по черновикам – всё равно каждый раз, открывая новую папку, чувствовала тот же трепет. Как будто прикасалась к чему-то живому, дышавшему сквозь века.

Сегодня трепет был особенным. На столе лежала папка с грифом «Неатрибутированные черновики» – святая святых. Тексты, которые никто не расшифровывал, не анализировал, не публиковал. Последняя такая находка была десять лет назад, в частном собрании в Праге, и она перевернула представление о работе Пушкина над «Медным всадником». Анна помнила то чувство – когда впервые прочитала те строки, которые меняли всё. И вот теперь – новая папка. Тридцать шесть листов, найденных в частном собрании в Ницце. Вдова какого-то русского эмигранта продала их музею за сумму, которую Анна старалась не представлять. Музей прислал копии в Петербург для атрибуции – и Анна должна была стать первой, кто их увидит. Первой, кто прикоснется к этим строкам, которые не видел никто больше века.

Она надела белые перчатки. Ткань мягко обхватила пальцы, приглушая их чувствительность – но даже через неё она ощутила шершавую текстуру бумаги, открывая папку. Первый лист – вариант строфы «Полтавы». Пушкин зачеркнул три строки и надписал сверху другие. Анна пробежала глазами: знакомый ритм, знакомые образы, знакомый почерк – летящий, размашистый, с характерными завитками. Ничего неожиданного. Второй лист – письмо, короткое, к неизвестному адресату: отказ от дуэли. «Милостивый государь, я не имею чести знать Вас лично...» Анна улыбнулась. Пушкин отказывался от дуэли – такое бывало редко. Третий – эпиграмма. Четвёртый – набросок пейзажа. Пятый – список покупок: чернила, бумага, табак.

Она работала уже два часа. Пальцы привычно скользили по строчкам, глаза выхватывали ритмические паттерны. Пушкин был спокоен, ироничен, был – Пушкиным. Она знала его почерк лучше своего собственного: как он выводит «д», как закругляет «о», как нервничает, когда буквы мельчают и теснее жмутся друг к другу.

И вдруг – нет.

Анна замерла. Воздух в лёгких стал вязким, как патока. Перечитала. Ещё раз. Перед ней был лист, исписанный знакомым летящим почерком. Но что-то было не так – она почувствовала это раньше, чем поняла, то самое чутьё на «тёмные места», выработанное за пятнадцать лет. Пушкин здесь был другим. Более напряжённым, почти отчаянным. Она пробежала глазами текст: вопрос о каком-то «Сказании о Грустине», просьба сообщить, «что есть Грустина на самом деле», и координаты – цифры, написанные с нажимом, почти прорывающие бумагу. И тире. Тире не было.

Анна перечитала абзац. Потом ещё раз. Потом перевернула лист и посмотрела на обороте – нет, не опечатка. Во всём остальном тексте тире стояло через каждые две-три строки. Пушкин любил тире – оно создавало его знаменитую интонацию, его дыхание, его ритм. Тире было его подписью в тексте. А здесь – ни одного. Но было кое-что ещё: в углу листа, почти сливаясь с выцветшей бумагой, она заметила крошечный значок – круг, перечёркнутый волнистой линией. Тот самый, который она уже видела в дневнике Герберштейна, на полях «Сказания». Он был нарисован так легко, что, возможно, его оставил сам Пушкин. Или кто-то до него. Анна провела по нему пальцем, и ей показалось, что бумага под перчаткой стала чуть теплее.

Она отодвинула лист, достала из сумки блокнот – старый, потрёпанный, с записями, которые вела годами. Открыла на странице, озаглавленной «Ритм». Её личный каталог: статистика тире у Пушкина в разные периоды. Письма – в среднем шесть на страницу. Проза – девять. Стихи – варьируется, но тире есть всегда. Она пересчитала в найденном письме. Двадцать две строки. Ноль тире. Статистическая аномалия с вероятностью ошибки меньше одного процента. И этот символ – он не мог быть случайным.

Анна прошептала, сама не слыша своего голоса: «Ты боялся. Ты так боялся, что забыл, как дышать». Она снова перечитала строки: «Там человек теряет ложь, как кожу. И не каждый выдерживает». Это не поэзия. Это свидетельство. Пушкин писал это не как поэт – как человек, который собирался что-то сделать и передумал. Или не передумал, но испугался. Анна знала этот страх – она жила с ним три года. Но теперь она знала и то, что в этом страхе была какая-то древняя, почти мистическая структура – символ, который связывал его с другими, с теми, кто искал Грустину до него.

Она достала телефон и сфотографировала лист. Потом написала Платонову: «Олег Михайч, посмотрите, когда сможете. Кажется, я нашла кое-что важное». Ответ пришёл через четыре минуты: «Заходите».

3

Кабинет Платонова помещался в конце коридора, за дверью с табличкой, которую не меняли с восьмидесятых. Внутри пахло табаком – он курил в форточку, и весь институт знал об этом и молчал, потому что Платонов был единственным, кто ещё помнил, где лежат неразобранные фонды. Анна открыла дверь и вошла в хаос: книги громоздились на стульях, на подоконнике, на полу – башни фолиантов, которые он никогда не разбирали, потому что знал, где что лежит, и это знание было важнее порядка. На стене висела карта Московии времён Ивана Грозного – подлинник, как он утверждал. В углу – глобус, на котором ещё был СССР. На подоконнике, среди книг, стояла кружка с засохшей чайной заваркой. Анна помнила эту кружку – она стояла там же пятнадцать лет назад, когда она впервые вошла в этот кабинет.

– Вы когда-нибудь моете кружку? – спросила она, закрывая дверь.

– А зачем? – Платонов удивился, брови полезли вверх. – Чай от этого вкуснее не становится.

Он сидел за столом, подперев кулаком щеку, и смотрел на фотографию в телефоне. Когда Анна вошла, поднял глаза и посмотрел на неё поверх очков. Ему было пятьдесят два, но выглядел он старше: седые волосы, глубокие морщины у рта, вечно прищуренные глаза – лицо человека, который слишком много читал и слишком мало спал. Когда-то он был восходящей звездой отечественной пушкинистики. Потом – скандал, о котором никто не говорил вслух: какая-то ошибка в атрибуции, после которой его перестали печатать в ведущих журналах. Он остался в институте, но карьера кончилась. Теперь он был живым архивом – к нему приходили, когда не могли найти что-то в каталогах. Анна была одной из немногих, кто приходил не за справкой, а просто так. Потому что он был её наставником, оппонентом, зеркалом. И потому что она знала его тайну: он тоже когда-то искал Грустину, но остановился.

– Анечка, – голос Платонова скрипнул, как несмазанная дверь, – садитесь. – Он отложил телефон и жестом пригласил её сесть на стул с продавленным сиденьем, тот самый, на котором она сидела пятнадцать лет назад, приходя за темой диплома. – Вы понимаете, что это значит?

– Пока нет. Но я чувствую, что это важно. – Она протянула ему распечатку письма.

Платонов надел очки – толстые, в металлической оправе, которые делали его глаза огромными и комичными, – начал читать. Молча. Долго. Анна смотрела на его лицо: сначала недоумение, потом удивление, потом что-то похожее на страх. Он отложил лист, снял очки и посмотрел на неё серьёзно, почти сурово.

– Солнце русской поэзии боялось, – сказал он глухо. – Обыкновенно, по-человечески боялось. Спрашивал дорогу, а сам трясся. Как мы с вами. – Он замолчал, и Анна заметила, как его пальцы начали нервно перебирать бумаги на столе, искать, чем занять руки. Она знала этот жест: когда Платонов врёт или недоговаривает, он всегда что-то ищет. Ему нужно занять руки, чтобы слова не застревали в горле. Вот и сейчас он снова полез в ящик и достал старую фотографию: она и он на конференции в Ясной Поляне, оба смеются. – Помните? Мы тогда спорили о «Гавриилиаде». Вы были не правы, но спорили красиво.

– Я была права, – сказала Анна, чувствуя, как тёплая волна воспоминаний накрывает её, но не позволяя себе отвлечься.

– Красиво, Анечка. – Голос Платонова скрипнул, как несмазанная дверь. – Прямо как диссертацию. Только диссертации не жгут сердца. – Он покачал головой. – Ладно. Давайте по порядку. Что вы знаете о Грустине?

– Легенда. Крепость на Оби. Герберштейн писал в «Записках о Московии». Золотая Баба, немые люди, всё такое.

– А вы Герберштейна читали в оригинале?

– Нет.

– А я читал. – Он встал, подошёл к книжному шкафу, достал потрёпанный том в тёмном переплёте. – «Записки о Московии», издание 1908 года. Слушайте: «Грустина есть крепость при реке Оби, где живут люди, именуемые грустинцами. Они торгуют мехами с народами, обитающими далее к востоку. За Обью же, в горах, живут люди немые, и стоит там идол Золотой Бабы...» – Он захлопнул книгу. – Немые люди. Золотая Баба. И всё. Никаких подробностей. Для человека, описывавшего московский двор с точностью до пуговиц на кафтане – подозрительно мало. Герберштейн был дипломатом. Он писал точно. Координаты, расстояния, имена. А про Грустину – расплывчато. Как будто он что-то скрывал.

– Или боялся, – сказала Анна. – Как Пушкин.

Платонов посмотрел на неё поверх очков, и на губах мелькнула странная, почти печальная улыбка.

– Я называю это «тёмными местами», – продолжала Анна, чувствуя, как её собственная идея обретает форму. – Моменты, где автор отступает от своего стиля. Где он напряжён. Где он боится. Это пропуски в тексте – дыры, через которые видна правда. Пушкин без тире – это Пушкин без дыхания. Он задыхался, когда писал это письмо. – Она замолчала, глядя на Платонова, и вдруг добавила: – И ещё. В углу письма был значок. Круг, перечёркнутый волнистой линией. Я видела его раньше. В дневнике Герберштейна.

Платонов на мгновение замер. Его пальцы, перебирившие бумаги, остановились. Он посмотрел на неё с новым, почти испуганным выражением.

– Ты видела его? – спросил он, и его голос потерял привычную иронию. – Точно?

– Да. Что это значит?

Он помолчал, и его пальцы застыли на фотографии.

– Не знаю. – Пауза. – Слышал о нём. Старые картографы... они называли его «знак молчания». Ставили на картах, чтобы спрятать. Или чтобы никто не нашёл. – Он усмехнулся, но усмешка была горькой. – Как будто можно спрятать правду. – Он вздохнул. – Анечка, тыходишь в очень тёмную воду.

– Я знаю, – ответила она, и голос прозвучал твёрже, чем она ожидала.

– Прекрасно говорите, Анечка, – Платонов хмыкнул, но без насмешки. – Прямо как диссертацию защищаете.

– Я пятнадцать лет защищаю диссертацию, Олег Михалыч. Только никто не слушает.

Он посмотрел на неё долгим взглядом – в глазах мелькнуло что-то, чего она не видела раньше: одобрение, предупреждение, может быть, тоска. Потом вздохнул и заговорил тише, почти шёпотом:

– В Ватикане. В Апостольской библиотеке. Там есть список «Сказания о Грустине» – единственный уцелевший. Я наткнулся на упоминание ещё в девяностом, когда работал с ватиканскими архивами по «Гавриилиаде». Рукопись пятнадцатого века. Еретическая. Уничтожена почти полностью, но один экземпляр уцелел. Я всю жизнь жалел, что не поехал туда сам.

– Вы видели упоминание – и не проверили? – Анна не могла скрыть удивления.

– Анечка, – он улыбнулся, но улыбка была грустной. – Я стар. Мне поздно искать Грустину. А вам – нет. – Он протянул ей фотографию – ту самую, с конференции. – Возьмите. На счастье.

Она взяла. Края обтрепались, на обороте было написано её рукой: «Ясная Поляна, 2008». Она и Платонов на фоне гостиницы, она в нелепом пиджаке, он – моложе на десять лет, почти без седины. Оба смеются.

– Я найду это место, – сказала она, и голос прозвучал твёрже, чем она ожидала.

– Я знаю. – Платонов посмотрел на неё с какой-то странной, почти отеческой нежностью.

– Вы всегда всё находите. Кроме одного. Себя.

Слова повисли в воздухе, как дым, который не рассеивается. Анна ничего не ответила. Просто кивнула, повернулась и вышла из кабинета, оставив его одного среди книг, пыли и невысказанных тайн. Но когда она закрывала дверь, она услышала его тихий голос, почти шёпот: «Знак молчания... он на всех картах. Я просто не хотел тебе говорить».

4

Вечером Анна стояла на набережной Фонтанки и смотрела на воду. Каналы уже начали замерзать – тонкая корочка льда у берегов, матово-белая в свете фонарей, с трещинами, расходящимися к центру, как паутина. Холодный ветер с Невы пронизывал до костей, заставляя поднять воротник пальто и сунуть руки в карманы. В правом кармане лежала распечатка письма Пушкина, в левом – фотография от Платонова. «Там человек теряет ложь, как кожу. И не каждый выдерживает». Она перечитала эту строку раз двадцать по дороге от института до набережной.

Она шла вдоль воды и думала: мы живём в эпоху тотальной лжи. Фейк-ньюс, соцсети, отфотошопленные лица. Политики лгут избирателям, корпорации – клиентам, люди – друг другу. Ложь стала воздухом – мы не замечаем её, пока он есть. Но я замечаю. Это моя профессия – замечать ложь в текстах. Я вижу её там, где другие видят искренность. Я коллекционирую её признаки, как другие – марки. Пушкин теряет тире. Алексей удлиняет предложения. Платонов отводит глаза и ищет, чем занять руки. И при этом я три года лгу себе. О муже. О браке. О том, что всё можно исправить. Может быть, поэтому я ищу Грустину? Не ради Пушкина. Не ради карьеры. Ради глотка воздуха, в котором нет лжи. Ради того, чтобы, наконец, перестать быть коллекционером чужих обманов и начать жить свою собственную правду.

Телефон зазвонил. Алексей. Она сбросила. Что она скажет? «Я нашла место, где нельзя лгать, и собираюсь его найти»? Он спросит «Зачем?» – и тогда придётся сказать всё. Нет. Пока нет.

Дома она открыла ноутбук. Поиск: «Грустина Герберштейн». Статьи, диссертации, форумы. Через час – название архива в Вене и имя куратора. Ещё через полчаса – итальянская статья о «Сказании» в ватиканском журнале, с пометкой, что рукопись доступна по специальному запросу.

Среди результатов мелькнула ссылка на форум сибирских краеведов – маленькое, почти заброшенное сообщество. Ветка «Золотая Баба: легенды и свидетельства». Последнее сообщение – пользователь VKlimova: «Грустина – не крепость. Это место за Обью. Я ищу его уже пятнадцать лет. Если кто-то знает что-то о "Сказании о Грустине" – отзовитесь». Анна нажала на профиль – скудная информация, никаких фотографий, дата регистрации: 2009. Она написала короткое сообщение: «Я ищу Грустину. Вы ещё ищете?» Ответ пришёл через час: «Ищу. Меня зовут Вера. Расскажите, что вы знаете. Мой телефон...» Она сохранила номер. На будущее.

Затем набрала венский архив. Длинные гудки, потом щелчок, и голос – молодой, с лёгким австрийским акцентом.

– Hallo?

– Добрый вечер, – сказала Анна по-английски, стараясь, чтобы голос звучал ровно. – Меня зовут Анна Северцева. Я из Пушкинского Дома в Санкт-Петербурге. Мне нужно посмотреть дневники Сигизмунда фон Герберштейна. Оригиналы. Срочно.

На том конце помолчали. Слышно было, как кто-то перелистывает бумаги.

– Это невозможно. Запись – за три месяца.

– У меня нет трёх месяцев. – Анна почувствовала, как в её голосе появляются металлические нотки, которых она раньше не слышала. – Послушайте. Я лечу в Вену завтра утром. У меня нет официального запроса, нет направления, нет гранта. У меня есть только одно: письмо Пушкина, в котором он спрашивает о том, что может изменить всё, что мы знаем о нём. Понимаете? Всё. И если вы мне не поможете, я всё равно прилечу и буду сидеть у вас под дверью, пока меня не пустят. Вы готовы к этому?

На том конце снова помолчали, потом что-то зашуршало.

– Пушкин? Александр Пушкин?

– Да.

– Я изучал славистику в Венском университете. Читал «Онегина» в оригинале. – Пауза. – Хорошо, фрау Северцева. Я посмотрю, что можно сделать. Пришлите запрос на почту.

Анна положила трубку и поняла, что улыбается. Впервые за долгое время она говорила правду – и ей поверили. Она открыла документ и набрала название: «Грустина. Заметки к расследованию». С этой минуты она больше не принадлежала себе. И где-то в глубине её сознания, как крошечный углѣк, тлел тот самый символ – круг, перечѣркнутый волнистой линией, – который теперь казался ей не просто знаком, а ключом.

5

В Михайловском шѣл снег. Александр Пушкин сидел у окна и смотрел, как белые хлопья падают на голые ветви лип, налипают на стекло, залепляя мир. В камине потрескивали дрова, свет пламени плясал на стенах, на книгах, на его лице, делая его старше, усталее, чем он был на самом деле. В руке он держал письмо – ответ на запрос, отправленный месяц назад. Почерк был мелким, убористым, чужим.

«...Сказание о Грустине есть подлинная рукопись XV века, признанная еретической и уничтоженная. Однако один список уцелел. Место, о коем Вы спрашиваете, – не крепость. Это поляна в сибирской тайге, где человек, проведя ночь, теряет способность лгать. Я не был там, но те, кто был, не лгут более никогда. Иные же вовсе лишаются речи. Ежели Вы решитесь ехать – прилагаю карту...»

Пушкин перечитал письмо. Он знал об этом месте уже пять лет – с 1820 года, с южной ссылки, когда впервые услышал о Грустине от старого казака. Знал – и не ехал. Вместо этого он выходил к барьеру, стоял под дулом пистолета, искал смерти – потому что только на грани жизни и смерти ложь исчезала. Каждая дуэль была его ночью у Золотой Бабы. И каждая кончалась тем, что он оставался жив – и продолжал лгать.

Он взял рукопись «Руслана и Людмилы», нашѣл строфу о Золотой Бабе – и на мгновение замер. Перо дрогнуло. «И между тем с высот Урала Златая баба воссияла...» Он вычеркнул. На полях вывел: «Спросить у Герберштейна, что есть Грустина». А затем сжѣг письмо – и смотрел, как пепел поднимается в дым, чувствуя, что сжигает не бумагу, а собственную надежду. За окном падал снег – белый, бесконечный, равнодушный.

Он не знал тогда, что пройѣт двенадцать лет – и он снова выйдет к барьеру. На Чѣрной речке. Измученный долгами, цензурой, сплетнями о жене. Он больше не сможет лгать – и не сможет поехать к Грустине. Слишком поздно. Слишком далеко. И тогда он сделает то, что делал всегда: выйдет к барьеру. Но в этот раз – с тайным намерением не вернуться. Последняя дуэль станет его последней ночью у Золотой Бабы. Он наконец узнает правду. И она его убьѣт.

Анна, глядя на экран ноутбука, где горело название «Грустина. Заметки к расследованию», вдруг поняла: она – продолжение этого пути. Она, как и Пушкин, ищет правду, но не для того, чтобы умереть, а чтобы начать жить. Она закрыла ноутбук, подошла к окну и посмотрела на падающий снег. В голове звучала строка, которую она только что прочитала в письме Пушкина: «Там человек теряет ложь, как кожу». Она улыбнулась – тихо, без слов. Снег продолжал падать – белый, бесконечный, и в его кружении было обещание, которому не нужны были слова.



Глава 2. Свидетель, который не решился

«Non ausus sum. Я не решился»

– Сигизмунд фон Герберштейн, из личного дневника, 1526 г.

1

Дождь забивался под воротник ещё в аэропорту – колючий, мелкий, как битое стекло. Небо над Веной висело серой, тяжёлой тканью, и черепичные крыши старых домов блестели,

облитые водой. Анна вышла из здания аэропорта и на мгновение замерла, втягивая носом влажный воздух – с примесью выхлопных газов, мокрого асфальта и откуда-то доносившегося сладковатого запаха свежей выпечки. Вена пахла иначе – мягче, спокойнее, с привкусом сытого благополучия, которое казалось почти обманчивым, как декорации в театре, где за бархатными кулисами прячутся старые тайны. Анна не была здесь раньше, но чувствовала: этот город хранит секреты не хуже её родного Пушкинского Дома.

Такси, старое, с потёртым кожаным сиденьем, пахнущее ментолом и сигаретным пеплом, везло её по мокрым улицам. Она смотрела на проплывающие мимо здания – дворцы, церкви, кофейни с мраморными столиками, – но мысли её были далеко. В голове пульсировали строки из письма Пушкина: «Там человек теряет ложь, как кожу». Она повторяла их про себя, как заклинание, чувствуя, как они въедаются в память, становятся частью её дыхания. Что значит потерять ложь? Остаться без брони, без привычной маски, которую носишь так долго, что она начала прирастать к лицу? Анна знала ответ. Она носила эту маску три года, и теперь она отправлялась в Вену, чтобы содрать её – как змея сбрасывает старую, ненужную чешую, оставляя на земле прозрачный, пустой след.

Архив размещался в старом дворце с тяжёлой мраморной лестницей, стёртой миллионом шагов, и лепниной на потолках, покрытой паутиной трещин. Анна поднялась по ступеням, чувствуя, как холодный камень отдаёт сыростью через подошвы ботинок. Внутри пахло воском, деревом и временем – тот же самый запах, что и в Пушкинском Доме, но с чуждой, венской нотой, от которой становилось немного не по себе. Она подошла к стойке, где её уже ждал Штефан – молодой человек в очках, с лёгким удивлением во взгляде, как будто он не верил, что она действительно приедет.

– Фрау Северцева? – спросил он, поднимаясь. В его голосе звучала учтивость, смешанная с любопытством.

– Да. Я прилетела, как обещала.

Он улыбнулся, протянул пропуск, и они прошли по длинным коридорам, мимо стеллажей, уставленных коробками и папками, – до двери с табличкой «Читальный зал № 4. Специальные фонды».

– Вам невероятно повезло, – сказал Штефан, указывая на маленький стол у окна, заваленный книгами. – Кто-то отказался от брони в последний момент. Дневники Герберштейна ждут вас.

«Ждут», – повторила она про себя. Ждали ли эти дневники её? Или они ждали кого-то другого, кто так и не пришёл? Она думала о Пушкине, который мог бы быть здесь, но не приехал. О Герберштейне, который написал эти строки пятьсот лет назад и тоже не решился. О Платонове, который говорил о Ватикане, но так и не поехал. Все они были свидетелями, которые не решились. А она – она решилась.

2

Она надела белые перчатки. Ткань была тонкой, почти невесомой, но она приглушала чувствительность пальцев, и Анна ощущала бумагу сквозь неё, как через слой воды. Кожа переплёта была потрескавшейся, сухой, с запахом вековой пыли и чего-то кисловатого, что напоминало о старых библиотеках. Она открыла первый том, и страницы зашуршали – тонко, сухо, как шорох осенних листьев под ногами. Чернила выцвели до коричневого, почти неразличимого на пожелтевшей бумаге, но буквы ещё хранили микроскопические углубления от пера. Анна провела пальцем по строке и, закрыв глаза, на мгновение представила руку Герберштейна, выводящую эти знаки.

Она читала медленно, вдумчиво, и перед ней оживала Московия XVI века: снег, деревянные терема, запах ладана, смешанный с дымом очагов, бородатые бояре в тяжёлых шубах, глухой звон церковных колоколов, доносящийся откуда-то издалека. Герберштейн писал на

латыни – сухо, точно, почти клинически, как человек, привыкший фиксировать факты, а не чувства. Анна перелистывала страницу за страницей, сверяясь с «Записками о Московии», и наконец нашла официальную версию о Грустине: «Grustina castellum est ad flumen Obium...» – «Грустина есть крепость при реке Оби». Сухое, безликое описание. Крепость. Меха. Немые люди в горах. И идол Золотой Бабы. Ни слова больше.

Она уже готова была разочарованно захлопнуть том, как вдруг заметила маргиналию на полях – простым карандашом. Анна замерла. Знакомый почерк – она узнала бы его среди тысячи, даже если бы он был вырезан на камне. «Здесь. Спросить у Г. о настоящей Грустине». Четыре месяца. Алексей. Он был здесь. Он знал. Он знал – и не сказал. Вместо правды он оставил карандашную подсказку, почти стёртую, почти невидимую. Как всегда. Как всю жизнь. Оставлял следы, чтобы кто-то другой шёл по ним вместо него. Её каталог лжи пополнился ещё одной строкой: Алексей, новый признак – он оставляет намёки на правду, но не говорит её вслух. Рядом с пометкой, в углу страницы, она заметила крошечный рисунок – круг, перечёркнутый волнистой линией. Тот же знак, что на письмах Пушкина, на маргиналии в Ватикане, на полях «Сказания». Анна сфотографировала страницу, чувствуя, как внутри поднимается волна – холодная, тревожная, но жгуче-возбуждённая.

Она перелистнула несколько страниц вперёд и снова остановилась. Запись была сделана поздно вечером – чернила бледнее, словно Герберштейн писал уже при свечах, уставший после долгого дня, голос его звучал личнее, почти исповедально: «Сегодня купец из Тобольска рассказывал мне о месте, кое называют Грустиной. То, что я записал ранее – неправда. Грустина не крепость. Это место в лесах за Обью, куда приходят остяки для обряда. Купец говорил: кто проведёт там ночь, теряет способность лгать. Не на время – навсегда. Он говорил шёпотом и оглядывался, хотя мы были одни». Воздух сгустился, стал тягучим, как патока. Следующая строка была ещё откровеннее: «Я должен поехать туда. Должен увидеть сам. Если это правда, то это величайшее открытие. Но я боюсь. Я, посланник императора, кавалер ордена, боюсь как мальчишка. Что я скажу там? Какую правду я узнаю о себе?» А затем – пробел, словно он собирался с духом, и последняя запись, с сильным нажимом, почти прорывающая бумагу: «Non ausus sum. Я не решился».

Анна откинулась на спинку стула. Стул скрипнул в тишине, и этот звук показался ей оглушительным. За окном шумел дождь – монотонный, бесконечный, он барабанил по стеклу, стекал по желобу, и его звук был единственной реальностью, отделявшей её от того, что она только что прочитала. Пятьсот лет назад посланник императора испугался. Он спрятал правду в личном дневнике, замаскировав её сказкой в официальной книге. И эта правда пролежала здесь пять веков, дожидаясь её. Анна смотрела на эти строки и вдруг поняла: Герберштейн был зеркалом. Его страх отражал её собственный страх, его нерешительность – её молчание. Но она не была им. Она пришла сюда, чтобы разорвать этот круг.

Она закрыла дневник, но продолжала сидеть неподвижно, глядя на потёртую обложку. В голове проносились обрывки: скрип пера, запах воска, тень на стене, свеча, которая вот-вот догорит. Она представляла себе ту ночь – когда он остановился, задумался, испугался. И когда, наконец, закрыл дневник и задул свечу, оставив свою правду во тьме. В этой тьме она пролежала пять столетий. Теперь Анна держала её в руках. И в её сознании, как эхо, звучал тот самый символ – круг, перечёркнутый волнистой линией, – который, как она теперь начинала понимать, был не просто меткой, а приглашением.

3

Она вышла из архива и остановилась на крыльце. Дождь кончился, оставив после себя air, который ещё помнил влагу, – тяжёлый, с привкусом озона и мокрого камня. Булыжники блестели в свете уличных фонарей, как чёрное стекло. Вечер опускался на Вену стремительно, и тени, вытягиваясь, окрашивали улицы в цвет старого синяка. Анна стояла, глядя на закат-

ную полосу, разрывавшую облака на западе кроваво-красным швом, и думала: она только что сделала самый важный шаг. Она нашла подтверждение – Грустина реальна. Пушкин не выдумал свой страх. Герберштейн действительно испугался. Алексей знал больше, чем говорил. И теперь она должна была сделать то, на что они не решились. Но помимо этого, она чувствовала, как внутри неё, глубоко под слоями лет, зашевелилось что-то новое – не просто решимость, а почти физическое ощущение, что она стоит на пороге чего-то, что изменит её навсегда.

Она достала телефон и набрала номер Веры. Гудок, второй, третий – Анна уже хотела сбросить, когда на том конце щёлкнуло.

– Алло? – Голос был низким, с хрипотцой, голосом человека, привыкшего слушать тайгу, а не телефонные гудки. В нём чувствовалась сила, спокойная уверенность того, кто знает, чего хочет.

– Вера, это Анна Северцева. – Она говорила быстро, словно боялась, что её прервут. – Я в Вене. Я нашла дневник Герберштейна. Грустина – не крепость. Это место, где нельзя лгать. Он знал. Он не решился поехать, но он знал. И я хочу найти это место.

– Здравствуйте, Анна. – В голосе Веры слышалась усталость, но также и настороженное внимание. – Я так и думала, что вы позвоните. Вы нашли что-то ещё?

– Да. – Анна замолчала на мгновение, собираясь с мыслями. – Я нашла пометку на полях. Моего мужа. Он был здесь четыре месяца назад. Он тоже искал Грустину. И он оставил мне подсказку – «Спросить у Веры Климовой. Она знает путь». Я не знаю, что это значит, но я чувствую, что это связано с вами.

На том конце повисла тишина. Анна слышала, как Вера дышит – ровно, обдумывая каждое слово. Потом, когда тишина стала почти невыносимой, Вера заговорила снова, и голос её стал твёрже:

– Тогда вам нужно в Ватикан. Там хранится список «Сказания о Грустине», единственный уцелевший. И там есть кое-что ещё.

– Что именно? – Анна сжала телефон, чувствуя, как холодный ветер обжигает пальцы.

– Пометка на полях. Я видела её четыре месяца назад. Я искала отца и вышла на этот манускрипт два года назад. А когда вернулась перепроверить, увидела свежую пометку. Её оставил какой-то русский. Он представился историком. Назвался Алексеем Северцевым.

– Это мой муж. – Слова прозвучали глухо, как камни, падающие в воду. Анна услышала их со стороны и не узнала свой голос. Холод пополз от пальцев к запястьям, к локтям. Четыре месяца назад. Русский историк. В Ватикане. Её муж. Он был везде – он опережал её на каждом шагу, но никогда не говорил ей правды. Он оставлял следы, как ребёнок, который хочет, чтобы его нашли, но боится признаться. И теперь она понимала, что этот его след – не просто случайность, а часть той же самой цепочки, того же самого символа, который она теперь видела во сне.

Тишина в трубке стала гуще, плотнее, почти осязаемой. Потом Вера заговорила – медленно, словно пробуя каждое слово на вкус, прежде чем отпустить:

– Тогда вам точно нужно лететь в Рим. – Пауза, и в ней послышалось что-то, похожее на предупреждение. – И поговорить с ним. Только... осторожнее. Он не тот, кем кажется. Он никогда не был тем, кем казался.

Анна кивнула, хотя Вера не могла этого видеть. Она сказала «Спасибо» и положила трубку, чувствуя, как ветер холодит лицо, сдувая влажные пряди волос с глаз. Но в тот момент, когда она убирала телефон, её взгляд упал на свои руки – пальцы дрожали, но в центре ладони, на коже, она заметила бледное пятно, похожее на тот самый символ. Она потёрла его, но оно не исчезло. Она не знала, было ли это игрой света или началом чего-то нового.

4

Она не заметила человека на другой стороне улицы сразу. Он стоял у фонаря – высокий, сутулый, в тёмном пальто, с седыми волосами, выбивавшимися из-под старой шляпы. Он

смотрел прямо на неё, и его взгляд был тяжёлым, немигающим, как у хищника, затаившегося в засаде. Анна замерла на мгновение, чувствуя, как где-то в животе затягивается холодный узел. Она пересекла улицу, чувствуя, как гравий хрустит под подошвами. Но когда между ними осталось всего несколько шагов, мужчина резко развернулся – и пошёл прочь, не оглядываясь, только полы его пальто хлестнули по мокрому асфальту, оставляя за собой тёмные, быстро тающие пятна.

– Эй! – крикнула она, но он уже исчез в переулке. На мокром асфальте, на том месте, где он стоял, белел маленький картонный квадратик. Анна наклонилась, подняла его. Спичечный коробок. На выцветшей этикетке едва читалась надпись: «Томский институт геологии. Экспедиция 1982». Внутри снова затянулся холодный узел – через четыре года после гибели отца Веры. Она сунула коробок в карман и пошла дальше, чувствуя, как тревога смешивается с любопытством, превращаясь в липкое, тягучее предчувствие. Кто этот человек? Почему он следил за ней? И что означала эта находка? На обороте коробка, почти стёртая, она заметила тот же знак – круг, перечёркнутый волнистой линией, – выведенный шариковой ручкой. Это было послание. И оно было адресовано ей.

Она вышла на главную улицу, и город шумел вокруг – машины, голоса, музыка из открытых окон. Но Анна слышала только стук собственного сердца. Каждый новый документ, каждый новый человек добавлял в эту головоломку новый кусок, и картина становилась всё сложнее. Но она знала одно: она не остановится.

5

Она долго ворочалась в гостиничной постели, слушая, как за окном шуршит дождь. Когда сон наконец пришёл, он оказался странным. Она стояла в заснеженном лесу, но деревья вокруг неё были не просто мёртвыми – они росли вверх ногами, корни тянулись к небу, и снег падал не вниз, а в стороны, как будто гравитация перестала существовать. Она шла к центру поляны, где возвышался каменный идол – Золотая Баба, но он был не серым, а светящимся изнутри, как раскалённый уголь. Анна подошла к нему, коснулась камня, и в тот же миг камень стал прозрачным, и внутри него она увидела своё собственное лицо – но старше, с морщинами, с глазами, которые смотрели на неё с глубокой печалью. Голос, исходивший отовсюду и ниоткуда, прошептал: «Ты не боишься правды. Но ты боишься того, что будет после». Анна открыла рот, чтобы ответить, но не смогла произнести ни слова – ложь застряла в горле, как рыба кость. Она проснулась с чувством, что этот сон был не просто предупреждением, а обещанием: правда не освобождает мгновенно, она открывает дверь, за которой ещё больше правды. И когда она проснулась, на ладони, на том самом месте, где она видела пятно, теперь был крошечный след от чернил – круг, перечёркнутый волнистой линией. Она не знала, откуда он взялся, но знала, что это не случайность.

Она села на кровати, включила ночник. Спичечный коробок лежал на тумбочке, и в тусклом свете его этикетка казалась почти светящейся. Она взяла его в руки, провела пальцем по выцветшей надписи. «Томский институт геологии. Экспедиция 1982». Этот маленький предмет был связующим звеном между ней и Верой, между ней и неизвестным человеком, следившим за ней в Вене. Она не знала, что он значит, но чувствовала: это важно. Она положила коробок в сумку, решив взять его с собой в Рим.

В темноте номера она лежала с открытыми глазами, перебирая детали сегодняшнего дня: Штефан с его любопытным взглядом, шорох страниц, привкус старой бумаги на губах, холодный камень под ногами. И вдруг она поняла: этот день был самым честным в её жизни за последние три года. Она ничего не скрывала от себя, не притворялась, не убегала. Она просто была – здесь, в этой комнате, с этими мыслями, с этой правдой.

6

Москва, 1526 год. Поздний вечер. Сигизмунд фон Герберштейн сидел в своей комнате на московском подворье. За окном трещали морозы, выли волки, и глухо, тревожно звонили церковные колокола. Он только что отпустил купца из Тобольска, рассказывавшего о месте, где человек теряет способность лгать, и слова купца всё ещё звенели в его ушах – отзвуком чужого страха. Купец говорил шёпотом, всё время оглядываясь, хотя они были одни, и в его глазах горел огонь, который Герберштейн видел у людей, видевших слишком много.

Он взял перо, обмакнул его в чернильницу и начал писать. Сначала – официальную версию для своей книги: о крепости, о мехах, о немых людях. Он писал быстро, стараясь не думать о том, что скрывается за этими словами. Закончив, отложил перо, отодвинул книгу и достал личный дневник. Открыл на чистой странице, и рука его дрогнула. «Я должен поехать туда. Должен увидеть сам. Но я боюсь. Что я скажу там? Какую правду я узнаю о себе?» Он остановился, посмотрел в окно на бесконечный снег, падающий и падающий, заметающий следы. Он думал о своей жизни – сколько раз он лгал императору, сколько раз говорил не то, что думал, чтобы угодить боярам. И что останется от него, когда вся эта ложь исчезнет? Пустота. Он боялся этой пустоты больше всего. Потом дописал: «Non ausus sum. Я не решился». Захлопнул дневник, задул свечу – и комната погрузилась в темноту, такую же глубокую, как та правда, которую он отказался узнать. И в углу страницы, там, где он поставил дату, его рука сама собой вывела круг, перечёркнутый волнистой линией. Он не знал, зачем сделал это. Но чувствовал, что это было правильно

7

Анна проснулась в гостиничном номере в Вене, чувствуя, как утренний свет пробивается сквозь тонкие шторы. Она села на кровати, и её взгляд упал на спичечный коробок. Она взяла его в руки, повертела, разглядывая выцветшую этикетку. Что-то в этом названии заставляло её сердце биться быстрее – «Томский институт геологии. Экспедиция 1982». Она вдруг поняла: это послание. От кого-то, кто знал, что она будет здесь, кто хотел, чтобы она нашла этот след. Может быть, Егор. Может быть, Серов. Может быть, кто-то, кого она ещё не встретила. Но одно было ясно: она не одна.

Она встала, подошла к окну. Вена просыпалась под серым небом – мокрые крыши, редкие прохожие, где-то вдалеке зазвонил колокол. Анна подумала о том, что её путь только начинается. Рим, Ватикан, «Сказание», пометка Алексея – а потом Сибирь, Вера, тайга, Золотая Баба. Она будет первой, кто решится. Она оделась, собрала вещи и вышла из номера, чувствуя, как внутри неё разгорается огонь – не для того, чтобы жечь, а чтобы светить.

На пороге гостиницы она остановилась, глядя в серое утро, и вдруг осознала: впервые за три года она чувствует себя живой – не функциональной, не автоматической, а присутствующей. Каждое ощущение было обострённым: влажность воздуха на коже, отдалённый звон трамвая, запах мокрого камня. И этот прилив был связан не с ответами, а с вопросами – правильными, наконец. Она взяла такси до аэропорта и всю дорогу смотрела на проплывающие мимо шпили и купола, думая о том, что где-то там, в Ватикане, ждёт следующая страница. И она была готова её перевернуть.

8

В такси она снова достала телефон и перечитала фотографию маргиналии Алексея. «Здесь. Спросить у Г. о настоящей Грустине». Она смотрела на эти слова и думала: он хотел, чтобы она их нашла. Он знал, что она будет искать. Он знал, что она не остановится. И он оставлял ей подсказки, как ребёнок, который боится признаться, но хочет, чтобы его нашли. Анна улыбнулась – горько, но без гнева. Она была его женой, а не матерью. Она не собиралась наказывать его. Она собиралась говорить с ним – как взрослый с взрослым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.